

*Произведение является художественным вымыслом.  
Все описанные события, персонажи и обстоятельства  
созданы автором и не имеют отношения к реальным  
людям, фактам или организациям. Любые совпадения  
следует считать случайными.*

*Моей маме, которая верит  
в меня безгранично*

# 1

Автобус, как большая бедовая лодка, скользил мимо безлюдных заправок, узких гравиек, тут и там врывающихся в широкую главную дорогу, мимо черных от темноты вокруг деревьев, тянущих, как того требует жанр, жадные руки-ветви к свету. Темнота была летняя, непроглядная, непреодолимая. Иногда фары освещали ни о чем не говорящие указатели — неуместные стайки букв, хаотично раскиданные по стальному листу, иногда выхватывали силуэты выдуманных существ — горбатых гротескных великанов, круглых рыхлых карликов, спящих грифонов. В полях гордились собственной маниакальной педантичностью белые полиэтиленовые тюки свежескошенной травы. За лесом ровным масленичным блином висела луна. Игги закрыл глаза и начал проваливаться в ватный, недружелюбный сон, из которого его моментально выдернули яркие неоновые всполохи. Фонари мелькали в голове с эпилептической планомерностью — вспышка, продох, новая вспышка. Назойливые светлячки, неутомимые стайки. Игги подумал переждать и начал было ждать, но свет никуда не девался.

Он попытался спрятаться за ветхую шторку, за ворот рубашки, за сухую ладонь, за веки. Бесплезно. Фонари продолжали танцевать в его глазах свой безумный лицедейский танец. Они плясали, как пламя

на сухом березовом полене, как черти у кипящего котла. Игги ненавидел их яростно и беспомощно, так узники Гуантанамо ненавидят дознавателей — тихо, боязливо, но всем сердцем. Фонари лишали его сна с той же необъяснимой жестокостью, с которой лишают сна самых опасных преступников, худших людей на земле. Игги не выдержал и открыл глаза — не было смысла и дальше делать вид, будто неприятеля можно не замечать. Фонари щедро облили его холодным синтетическим светом. Игги вгляделся в изогнутые объемные столбы, расширяющиеся к верхушке наподобие свинушек или каких других условно съедобных грибов. Вгляделся, и пронизывающий, электрический ужас прошел через его тело тройным разрядом. На фонарях, вздернутые, словно вычисленные сопротивленцы, висели огромные черные терьеры. Их человекоподобные мешковатые тела медленно раскачивались, каждое в своем направлении, своем, только им известном ритме. Игги закричал.

Игги закричал и на этот раз в самом деле проснулся. Его болтливая тучная соседка поправила китайские однодолларовые наушники, окинула его показательно недоумевающим жабьим взглядом и демонстративно усталилась в экран вмонтированного в спинку переднего сиденья планшета. Там крутилась какая-то бесстыдно засмотренная слащавая голливудская классика. Игги понадобилось время, чтобы решиться-таки посмотреть в окно. Солнце и впрямь село, но небо оставалось еще светлым и переливчатым, как река. Сумеречный свет сгладил кричащую сочную зелень травы, и теперь по ней, голубоватосизой, растекались тонкие ручейки подпревшего, ознобного тумана. Синий час, как говорят фотографы. Никаких фонарей и в помине за окном не было.

Не было ни безлюдных заправок, ни полей с выкошенной травой. Только деревья, одинокие ребристые валуны и молочные, жиденькие реки. Шею ломало от долгих попыток пристроить куда-то тяжелую, опустевшую голову, сон не принес ровным счетом никакой бодрости. Сон вообще ничего хорошего не принес — только затекшую ногу, засунутую до упора под переднее сиденье, пыльный липкий налет на лице от мутного автобусного стекла и кошмарный сон с повешенными терьерами. У бабушки был такой — медленный, неуклюжий черный терьер Ронька. Игги катался на нем верхом, как на пони, лет до пяти, закладывая за его липкие попахивающие щеки всё, что не хотел доедать сам, и гладил его по желтоватым крупным клыкам. На самом деле Ронька был никаким не Ронькой, а самым настоящим Рональдом — в честь Рейгана. Игги, если уж совсем откровенно, тоже и близко не был Игги. Игги он стал здесь, в стране непонятных указателей, птичьего переливистого языка и кровяного резинового мяса. До этого он был самым обыкновенным Игнатом.

Игги попытался размять одеревеневшие плечи и скованную шею — кровь не хотела разливаться по телу, а если и разливалась, то разносила с собой мелкую металлическую стружку зудящей боли. Соседка снова обдала Игги смесью парного недоумения и отрезвляющего раздражения. От этого взгляда ему стало как-то совсем уж нестерпимо неудобно, и он поежился. Странно, он только сейчас обнаружил, что совершенно отвык от всех этих беспардонных реакций и скрытых нападков, среди которых рос и, что удивительно, вырос. В Буржундии — так он беспардонно переименовал название страны, безропотно принявшей его в свои холодные, мачехины объятия, —

## Дарья Промч

подобным образом себя никто не вел. Там было принято извиняться раньше, чем наступишь кому-то на ногу, кланяться прежде, чем узнаешь прохожего. Буржуи — так Игги переиначил людей, среди которых с переменным успехом прожил последние полгода, а точнее, сто семьдесят четыре дня, — были тошнотворно осторожными. Игги даже подумал как-то, дожидаясь на остановке ночного автобуса среди аккуратно пьяных парней и неприметно разгульных девиц, что они осторожны так, будто живут исключительно начисто, словно им не выдали ни черновика, ни ластика. Бездушные синие чулки, механизированные человечки. Признаться, за время на чужбине Игги обозвал и оскорбил хозяев этой самой чужбины такое несметное количество раз — про себя, разумеется, исключительно в уме, — что теперь совершенно потерял счет проклятьям, пришедшим в его благодарную голову.

Эта страна вызывала в нем то глухое, слепое даже раздражение, которое прежде вызывала разве что тетрадка соседа по парте, старательного, дотошного отличника, выпрошенная с утра для списывания. Образцовая тетрадка. Ни помарки, ни замечания. Ничего. Только стройные ряды стройных решений.

Буржуи были уродливыми мягкими игрушками, которых дарят в тире почти любому не до конца слепому и двурукому. Безмозглые заветренные медведи с голубыми пластмассовыми глазами и гротескными ресницами. «В нас кладут сердце, — думал Игги. — В них — синтепон, бездушную синтетическую вату. Именно синтетическую, не хлопковую даже».

Игги бежал, как серый растрепанный заяц, в эту бездушную аккуратную страну, которую до этого если и видел, то разве что на уроках географии в кон-

турных картах. Может, обводил синим крошащимся карандашом, тем, что с другого конца красный, модным карандашом, который Дядьвася принес с работы одним промозглым октябрьским вечером. Игги бежал сюда, прижав уши, барабанил что есть мочи по мерзлой, с наледью, январской земле, бежал до загнанного сердца, бьющегося в длинных заячьих ушах. И прибежав наконец, он понял, осознал всем испуганным несмелым нутром, что принадлежит своей великой земле и великой ее душе безраздельно. Все эти тусклые монотонные сто восемьдесят четыре дня Игги мечтал оказаться снова в поле за гаражами, на водохранилище у военной базы, да что там — в магазине любимого разливного пива. В ночном ларьке с сигаретами и шоколадками, в дребезжащей лихой маршрутке. Там, где некрасивое принято не замечать, а красивое — видеоизменять.

Нескончаемый конвейер пыточных фонарей закончился вместе с беспокойным сном, переливистое небо вылилось в чернильное однотонное пятно, а жирная золотистая луна поднялась так высоко, что Игги надо было как-то неестественно изогнуться, чтобы разглядеть ее. В автобусе, идущем, мать его, домой, все разговаривали. Единственной, кому не повезло с собеседником, оказалась соседка Игги, которая теперь расправилась с увеселительной программой, любезно предоставленной автобусной компанией, и раскатисто, с нечеловечьим рыком захрапела. Тут и там люди делились соображениями: «у нас по телевизору всё время показывают один и тот же кадр, ну, тот, с горящим нефтехранилищем, а изображают, что новое», «если бы горело действительно, весь мир уже тушил бы», «я с матерью вчера говорила, она так хохотала, когда я ей рассказывала, что

## Дарья Промч

у нас тут говорят». «Какой-то чертов кошкин дом», — подумал Игги. Тили-тили, тили-тили, тили-тили, тили-бом! Загорелся кошкин дом.

— А у меня же дача была как раз у аэропорта, — страдальческий мужской голос спереди перечислял потери по третьему кругу. — Я как услышал, что горим, — сразу туда. А там уже не подъехать было. Дорожки-то у нас узенькие, кооператив старьй, для сотрудников НИИ, рукастых не было, все мозгови-тые, вот проезд никто и не расширил. Ну по всей центральной улице уже полыхало, жар такой стоял, что в машине дышать нечем было. Странное дело, конечно, чтобы в конце осени леса загорелись.

— А я вообще не понимаю, откуда эти мысли про «загорелись»? Не загорелись, а подожгли.

— Да кто бы их пустил к нам поджигать-то? Тут мусорный мешок у подъезда не оставишь — сразу старух-патруль засечет и давай кудахтать: что ж за свиньи такие, уберите, крысы заведутся. Будто крысы эти из воздуха материализуются, как только где мусор какой-то бесхозный возникает. Так что у нас коллективная ответственность — все за всеми следят. Если б поджигатели и попытались пробраться, их бы с какой-нибудь вышки махом всех и прихлопнули бы.

— А кто сказал, что они оттуда? Наши какие-нибудь. Свидетели какого-то там дня, светлой зари или еще чего. Сектанты, одним словом.

— Я вот вообще не верю, что горело.

— Ну как? А дача?

— Не, ну, может, где-то и горело, в рамках нормы, а у нас раздули, как обычно.

— А если не верите, что горело, зачем тогда уезжали?

— Так я, может, по делам.

— Да конечно! Все мы тут по делам.

Игги не без удивления подумал, что скучал по этим пустым разговорам, по понятной, родной речи. Буржуйский язык издалека звучал как мурлыканье кота Баюна, а на поверку оказался неподъемной массой правил, длящихся до нехватки дыхания гласных и рокочущих, словно соседский «Урал», чередованных согласных. Игги пробовал некоторое время совладать с этим до отвращения неаккуратным языком аккуратных людей и сдался. Кое-как он вдолбил в себя пару приветственных фраз, официальную благодарность и пожелание хорошего дня. Но даже вдолбленные и забетонированные, эти фразы умудрялись как-то меняться втихую местами, откидывать лишние слоги и присовокуплять сторонние звуки. Так что всякий, на ком Игги опробовал свои неочевидные лингвистические данные, растерянно улыбался в ответ, переспрашивал и ненавязчиво поправлял. Хорошие люди, правильные люди.

Когда всё началось, точнее, когда заговорили о том, что где-то там что-то началось, Игги толком не помнил. Мама была единственным человеком из всего его неширокого круга, который смотрел новости. Хотя «смотреть» казалось не самым подходящим словом. Мама включала телевизор сразу же, как вставала на работу, еще до душа и обязательных процедур по приведению себя в «человеческий» вид. Телевизор неумоимо вещал, пока мама умывалась и чистила зубы, пока варила пресную, на воде, овсянку, пока жарила яичницу для Игги и Дядьваси. Овсянка была залогом скорейшего похудания, яичница — «необходимым для мужиков протеином». С этой непобедимой плоской овсянки мама совершала все утренние ритуалы — красилась, завивала

волосы, облачалась в подготовленный с вечера костюм. По мере прохождения разнообразных стадий сборов овсянка превращалась из обыкновенной неаппетитной замазки в собеседника и союзника. Телевизор же вещал всё это время и призван был подкидывать маме поводы для восторга, гнева и негодования. Дядьвася, появившейся в их одинокой жизни, когда Игги исполнилось лет тринадцать, выходил к завтраку в одном и том же засаленном комбинезоне автослесаря. Игги тоже предстояло теперь каждое утро залезать в этот негнувшийся кусок материи, но он откладывал категорически неприятный момент до самого выхода из дома. Комбез ему жал — не физически, вполне себе метафизически. Игги тогда еще всерьез мыслил себя существом высшего порядка, и всё земное, к чему, безусловно, относилась работа механика в автоцентре, ему претило. Игги был поэтом. Наверное, про такое эффектнее было бы сказать циничное «мнил», но оставим эффектные выпады для второй части нашего рассказа. Игги был поэтом, что не помешало ему с треском провалить поступление в Литературный институт. Мама поплакала в ванной про грядущую армию, громко обсудила с тетей Светой масштаб апокалипсиса, еще раз поплакала, уже прилюдно, и Игги сдался на волю материнского чуткого сердца. Чуткое сердце, в свою очередь, здраво рассудило, что терять год в бесцельных литературных страданиях — дело пропащее, и приказало чуть менее чуткому мозгу отказать лоботрясу в содержании. Так Игги незаметно для себя оказался в тупике, единственным выходом из которого стала работа. Тут уже на сцену, под неумолимый луч софитов, вышел Дядьвася, и судьба литературного трутня (и это самое лестное наименование

из всех, что Игги только мог себе позволить) была решена. Автоцентр нуждался в толковых руках, которыми Игги едва ли обладал, но многолетний, ничем не запятанный стаж Дядьваси выступил таким неоспоримым гарантом, что все негодующие предпочли сдаться.

Но давайте вернемся-таки к тому, когда всё началось. Игги, пожалуй, не сказал бы наверняка, какой из месяцев угасающей осени это был, но я позволю себе напомнить ему. Был конец сентября, когда его мама впервые негодуяще воскликнула: «Да что же это такое творится-то!» На пыльном экране гуляли рыжие игривые всполохи, где-то на востоке горели леса. Игги сделал пометку в поэтическом блокноте: лесные пожары. Никакого стоящего текста из пожаров не вышло, потому что зарифмовались они разве что с осиным жалом, дамасским кинжалом и неопределенным по всем параметрам, кроме грамматических, глаголом «зажали». В стране лесов, тундры, торфяников и тайги трудно удивить кого-то пожаром. Так что Игги предпочел удивляться устройству коленвала и шруса. Но вскоре леса полыхнули и на юге, а потом, словно по одному незатейливому щелчку пальцев или, точнее, чирку спички, и в центральной полосе. К первым настоящим заморозкам горело уже тут и там по всей стране. В одну из ночей к Иггиному мстительному восторгу загорелось общежитие того самого Литературного. Игги пересмотрел все новостные ролики об этом происшествии в Сети, а потом и съемки очевидцев. Он завороженно наблюдал за тем, как его неслучившиеся однокурсники выбрасывали из окон черные, в подпалинах, матрасы и следом выбрасывались на них сами, будто обезумевшие рыбы на лед. Теперь горели

не только леса — комбинаты общественного питания, школы, жилые дома, котельные, ночные клубы, автостанции, парковки, коттеджные поселки — горела вся страна. Горела, как в лихорадочном бреду горит краснушный ребенок. Новости продолжали быть новостями откуда-то «оттуда», они всё еще были чьими-то чужими бедами и катастрофами, но по мере приближения Нового года становилось ясно, что мама была абсолютно права — творилось что-то немыслимое.

Тем не менее родной городок Игги продолжал жить размеренной захолустной жизнью глубокой провинции. Единственным, что дымило здесь, оставался мусорный полигон на южной окраине да маякоподобная бело-красная труба ТЭЦ. Дымили мастера из сервиса, дымили их клиенты, дымили ремонтируемые машины, иногда совсем истощенные, еле живые, иногда новенькие, лакированные. Дымил и сам Игги, пока не пустился в бега.

Есть вещи, о которых совершенно не задумываешься, пока не испытаешь в них острую нужду. Так, например, Игги никогда не думал о диспетчерах скорой или полиции, о врачах и патологоанатомах, о бензовозах и нефтеперерабатывающих заводах. Больше, чем об этом всем, Игги не думал только о пожарных. А вот те, кажется, начинали потихоньку думать о нем. Неизвестно точно когда. Может, в морозном и удивительно сухом, хрустящем ноябре, в котором сгорел центральный универмаг и один из двух ближайших аэропортов, может, в трескучем наэлектризованном декабре, в котором Игги вместе со всей страной обнаружил, что ни один снегопад, даже если это настоящий буран, не в силах потушить прожорливое, неразборчивое пламя. Может, еще

раньше, в октябре, который пах сладкой прелостью и кленовым сиропом и в котором Игги впервые услышал среди утренней суматохи официальный бравурный призыв добровольцев. Звали только молодых и физически здоровых мужчин, обещали льготы и какие-то выплаты. Игги не успел еще осмыслить эту информацию и переработать в какую-то внятную реакцию, как мама, решительно выключив звук, уже заявила ему: «Чтобы даже не думал!» Игги и не думал. Героизм не передался ему от самоотверженного отца, летчика-полярника, погибшего аккуратно после зачатия первенца. Буквально за месяц до грядущей свадьбы. Игги был благодарен маме за эту легенду — она снимала с него все ожидаемые обязательства по расследованию собственного происхождения, снимала всю ту ненужную мишуру, которую ему пришлось бы поднять в воздух лишь затем, чтобы обнаружить мелкодисперсную пыль и горечь разочарования. Автобус дернулся, вильнул вправо и резко свернул. Игги выглянул в окно, но увидел только знакомое помятое лицо в черном, маслянистом стекле.

Водитель кашлянул в микрофон, тот завизжал, в ушах, кажется, надорвалась перепонка, Игги терпеть не мог резких звуков с детства, а неожиданных и резких — вдвойне. «Дорогие пассажиры, по рации коллега передал только что... передал с границы, что там усиление по безопасности. Так что сейчас, пожалуйста, достаньте свои вещи и переберите их на предмет легковоспламеняющихся, горючих и опасных жидкостей. Всё выбрасываем». Водитель замолчал, автобус загудел, словно потревоженное осиное гнездо. Люди неохотно сползали с нагретых, насиженных мест и тянулись к выходу. И лишь говорливая тетка по со-

седству не собиралась выныривать из сладкого, подзвученного ею же на сотни диких голосов сна. «Только не это», — подумал Игги. Меньше всего ему хотелось как-то соприкоснуться с ней, тем более будить. Люди сосредоточенно текли мимо, и ни один даже близко не задевал спящую царевну. Игги сдался и потряс ее за плечо — двумя пальцами, как контролеры в электричке, максимально не нежно, насколько это возможно, отрешенно. Женщина издала гортанный, грохочущий рев, похожий на сигнал тревоги или автоматную очередь, и испуганно завертела головой по сторонам. «Что, приехали?» «Приехали», — ответил Игги и, не дожидаясь, пока соседка сподобится окончательно проснуться, начал бесцеремонно пролезать через ее баулистые сумки и необъятные бедра.

Темнота была влажная, почти жидкая, в нее не хотелось выходить. Казалось, сделаешь шаг за порог — и утонешь по колено. Игги намерзся уже в автобусе, не найдя, как отключить кондиционер, и теперь холод пропитал его до костей, растекся по телу болезненной застывающей медью, отяжелел в нем, обжился. Игги достал свой потрепанный серо-синий матерчатый чемодан, оторванный мамой от самого сердца. Они особо никуда не путешествовали, так что чемодан хранился на антресоли с незапамятных времен. Игги припоминал, что ездил с ним в лагерь. Да, точно, это был тот самый треклятый чемодан, в котором старшие ребята попросили его схоронить раздобытую где-то пятилитрушку спирта. Просьба была высказана в настолько ультимативной манере, что не согласиться было невозможно. Игги согласился, а потом ушел на вечерний кинопросмотр, показывали про ковбоев, линейный, шумный и бестолковый фильм, так что до конца досмотрели разве что

совсем конченные дегенераты, и он в их числе. Ему не хотелось возвращаться в комнату и лечь на сетчатую провисающую койку с тонким, плешивым матрасом, под которым его ждала бомба замедленного действия. Он еще не знал, что бомба его не ждала, она рванула, пока он сквозь сон любовался brutальными покорителями Дикого Запада, и теперь его ждали выискательные, многоступенчатые последствия.

Пластиковую бутылку то ли неплотно завинтили, то ли она в принципе не была приспособлена для лежания на боку — в общем, спирт начал сочиться и заполнять комнату десятилеток едким, узнаваемым запахом. Когда Игги добрал до своего неудобного временного пристанища, его уже ждали. Вожатый Петя, долговязый южанин с характерным акцентом, культпросвет Саша и почему-то беззубый охранник, которого Игги и видел-то только в день заезда. А дальше был унижительный разговор в кабинете директора, усатого, пузатого дядьки с задорным прищуром и блестящими, колючими глазами. Игги раз семь спросили про происхождение спирта, он раз семь ответил невнятное «не знаю, подложили». Утром за ним приехала мама, вздернутая, заплаканная и пропахшая травянистым лекарством от сердца так выразительно, что Игги стало стыдно. И пока они шли по раскаленному июльскому утру до остановки автобуса, Игги изо всех сил пытался объяснить маме, что он самоотверженно не сдал пацанов и принял удар на себя, а мама пыталась, в свою очередь, объяснить Игги, что путевку ей дал профсоюз, и если на работу придет письмо с объяснением, почему ее сына выгнали из лагеря посреди смены, то к Новому году он получит не кроссовки, а сырое свиное ухо. Где мама собиралась его брать, Игги не мог даже